

EHRI Online Course in Holocaust Studies

Novyi mir (Moscow), no. 10(798), October 1991, pp. 130–139

The Holocaust in Ukraine – Christian Leaders

Transcription: D10 The Orthodox priest Aleksei Glagolev recalls German murders in Kiev, 1945

А. Глаголев

*

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Последняя мировая война, вторгшись в СССР, неожиданным образом привела к улучшению положения Церкви в социалистическом государстве. Перед 1941 годом на всю страну оставались действующими около ста храмов и пять служащих на свободе архиереев. В таком городе, к примеру, как Киев, служило «полтора» храма (один, Никольско-Набережный, обходился дьяконом без священника).

На оккупированной немцами территории народ, еще не уяснив сущности пришедшего режима, попытался вернуться к свободной трудовой жизни, от которой он несколько десятилетий был насильственно отторгнут коммунистической тиранией. Надежды эти вскоре разбились о жестокую действительность. Но порыв многомиллионного народного организма к переменам и духовному выпрямлению оказался столь сильным, что на всей захваченной немцами территории стихийно начался религиозный подъем.

Оккупационные власти не препятствовали этому процессу, так что вскоре на подвластных им землях открылось около шести тысяч православных храмов и десятки обителей. В том же Киеве возобновилась деятельность более дюжины храмов и пяти монастырей (для сравнения: сейчас, после частичного возврата Лавры, монастырей всего три).

Волеизъявление народа, столь ярко выразившееся в стремлении жить церковно, было так очевидно, что заставило советское руководство спешно перестроить свою антирелигиозную политику. В догматическое обоснование ее нового варианта Сталин положил понятие «патриотизма», проявленного Церковью и верующими. С того исторического момента и до сего времени постулат о «патриотической позиции» духовенства стал чуть ли не единственным официальным оправданием существования в советском обществе религиозных организаций и открытых проявлений религиозной жизни. Что же конкретно скрывается за этой расплывчатой формулой?

Танковая колонна имени Дмитрия Донского и эскадрилья боевых самолетов имени Александра Невского, построенные на церковные средства, – пример, кочующий из одной пропагандисткой брошюры в другую; неопределенное упоминание о неких священниках, помогавших партизанам, да несколько эффектных кадров из документальных фильмов: бабушки в храмах, ставящих свечи за победу, – вот, пожалуй, и все, что может узнать рядовой советский человек или специалист-историк в данном вопросе.

EHRI Online Course in Holocaust Studies

<https://training.ehri-project.eu/d10-orthodox-priest-aleksei-glagolev-recalls-german-murders-kiev-1945>

Священство «под немцем» – не менее неисследованный раздел этой засекреченной темы. Те же брошюры, упоминая о патриотизме безымянных представителей духовенства, выливают ушат клеветы и обвинений в измене родине на целый ряд конкретных священнослужителей. А могли рассказать хотя бы о тех, кто выполнял задание в тылу врага. Я видел фотоснимки московского священника, брошенного к партизанам Югославии: рядом с дюжими бойцами с красными звездами на папах он выглядел интеллигентным замполитом с бородкой. Но если не затрагивать бывших на задании, то и сейчас при самых осторожных оценках можно утверждать, что на оккупированной земле священнослужители восстанавливали храмы и общинную жизнь, старались помочь народу в его новых бедах.

Краткая запись священника Алексея Александровича Глаголева – бесхитрое и скупое свидетельство о поведении рядового священнослужителя, старавшегося помогать людям, преследуемым гитлеровской карательной машиной. Заметка писалась в 1945 году специально по требованию церковных властей, что называется, по свежим следам, для «отчета» наверх: тогдашнему первому секретарю ЦК КПУ Хрущеву и уполномоченному по делам Русской Православной Церкви Ходченко.

За сухим описанием событий можно не заметить и как бы пройти мимо мужественной личности автора. Между тем, она резко неординарна и вступает в противоречие не только с образами, рисуемыми атеистической пропагандой, но и с той сусальной картинкой патриотического «церковного деятеля», которая создана в послевоенную эпоху в кругах Московского патриархата.

Невысокая худенькая фигурка в длинном плаще и соломенной широкополой шляпе на куполе храма: идет ремонт кровли. Тонкое лицо в очках, за стеклами которых смотрят грустные, чуть выпуклые глаза.

Родился он в Киеве 2 июня 1901 года. Детство его прошло на древнем Подоле; отец – знаменитый протоиерей Александр Глаголев, настоятель храма Николая Доброго (в котором венчался Михаил Булгаков), профессор Киевской Духовной академии, специалист по Ветхому завету и еврейской истории. Всероссийскую известность протоиерей Александр получил как эксперт на суде по делу Бейлиса, обвиненного черносотенными кругами в ритуальном убийстве русского подростка, на котором Александр Глаголев авторитетно засвидетельствовал полную абсурдность обвинений. Почти через десять лет, в 1922 году, на другом суде, над Петроградским митрополитом Вениамином (Казанским), человеком святой жизни, обвиненном в сопротивлении распоряжениям советской власти, его адвокат Гурович заявил красным судьям, что он, еврей, счастлив засвидетельствовать уважение к русскому духовенству, отстаивавшему в лице священника Глаголева правду на киевском процессе.¹

Не удивительно, что, обитая в церковно-профессорском кругу, с его своеобразной атмосферой, Алексей Глаголев впитывал в себя ее лучшие, благодатные веяния: трезвую ученость и ясную веру. Во время детских игр Лесик, как звали его в семье, всегда брал на себя роль священника, строил хамы и «крестил» в них сверстников.

В начале 20-х годов он, с последним выпуском, окончил курс в Киевской Богословской академии (под таким названием Киевская Духовная академия смогла

¹ Профессор-протоиерей А.Глаголев расстрелян в подвалах киевского НКВД в 1937 году.

продлить ненадолго свое существование). Однако в силу социального происхождения, несмотря на полученное прекрасное образование (в совершенстве владел основными европейскими языками и древнегреческим), Алексею Александровичу пришлось работать чернорабочим на заводах, сезонным рабочим в Институте сахарной промышленности, счетоводом, и так до 1936 года, когда ему удалось поступить на математический факультет пединститута (окончил в 1940 году).

Поначалу, по просьбе отца, Алексей Александрович отложил принятие священства до исполнения канонического возраста Христова, а когда он наступил, времена слишком переменялись... В 1927 году исполняющий обязанности Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополит Сергей (Страгородский) издал знаменитую «Декларацию». После ее опубликования девятый вал новых, самых длительных гонений обрушился на верующих.

Алексей Александрович входил в общину замечательного киевского священника Анатолия Жураковского, состоявшую из интеллигенции и молодежи. Общинники стремились возродить древний образ христианской жизни, сберечь культурные традиции разрушаемого русского общества, сохранить свободу и высокое достоинство Церкви. Не удивительно, что о. Анатолий и его паства порвали с митрополитом Сергием, перестали возносить его имя за богослужением (движение «непоминающих») и одни из первых ушли в Катакомбную Церковь.²

Глаголев и его жена, Татьяна Павловна, урожденная Булашевич (ум. в 1981 году), предоставили свою квартиру на втором этаже двухэтажного аварийного домика по Дегтярной улице для тайных богослужений. Подпольная киевская церковь была довольно многочисленна, одно время (по праздничным дням) служба шла сразу в трех-четыре места. Духовным главой этой церковной группы в 30-е годы всеми признавался выдающийся старец схимник-епископ Антоний (Абашидзе). В далеком прошлом ректор Тифлисской семинарии Давид Абашидзе попал на хрестоматийную когда-то картину придворного художника Бродского, изображавшую исключение юного Сталина из семинарии. При этом по воле партийного императора, как рассказывают очевидцы, у старца имелась кремлевская грамота, оберегавшая его от арестов.

Когда с приходом немцев появилась возможность выйти из подполья, Алексей Глаголев, по благословению схиархиепископа, принял священный сан. Управляющий Киевской епархией епископ Пантелеймон назначил о. Алексея настоятелем Покровской церкви на Подоле. Вокруг этой церкви в основном разворачиваются описываемые в воспоминаниях события. В краткой «Автобиографии» он так вскользь упоминает о том же «Божией помощью я спас несколько советских граждан, русских и евреев».

Как складывалась его судьба в дальнейшем? «Во время немецкой эвакуации из Киева, – пишет о. Алексей в официальной справке, – я был насильно угнан, ограблен и избит фашистами». К счастью, ему удалось бежать.

Наконец Киев освобожден, экзарх Украины митрополит Иоанн утверждает о. Алексея в должности настоятеля Покровской церкви, рапорты о его подвиге

² См. книгу «Священный Анатолий Жураковский. Материалы к житию», YMCA-PRESS, 1984, с моими предисловием и комментариями.

отправляются в высокие инстанции. Но радость победы не могла заслонить горького положения Церкви, на этот раз под мрачной опекой Верховного Главнокомандующего.

Начались новые неприятности. Еще при немцах о. Алексей открыл на дому нечто вроде школы для желающих принять священство. Когда кое-где по стране стали открываться духовные учебные заведения, в частности семинария в Киеве, церковные власти отказались допустить туда о. Алексия в качестве преподавателя.

Молодежь тянулась к этому на вид невзрачному священнику, стучалась в двери его квартиры, и он до последних лет жизни у себя на дому негласно занимался с желающими: семинария в очередное, уже хрущевское гонение на религию, вновь закрылась, а он по-прежнему учил – и многие его ученики в результате были рукоположены и служат до сих пор. (За некоторых ему пришлось расплачиваться: родители писали доносы, и стражи государственной безопасности терзали на допросах больного священника.)

За годы его настоятельства Покровская церковь (памятник архитектуры XVIII века, архитектор Григорович-Барский), полученная общиной в аварийном состоянии, была капитально отреставрирована, заново построена кирпичная ограда. А в 1960 году храм снова отняли у верующих. Больше о. Алексею не суждено было стать настоятелем...

Умер он 22 января 1972 года в сане протоиерея и погребен на Байковом кладбище.

Церковное начальство не жаловало его, чужим он казался и для собратьев-сослужителей, но в Киеве 50 – 60-х годов он стал духовным центром для «бывших» людей, для уцелевшей старой церковной интеллигенции, опорой для ростков новой верующей молодежи (сейчас это, в свою очередь, уже пожилые отцы христианских семейств.)

Когда говорят о тяжелых нравственных болезнях России, я вспоминаю некоторые имена, и одно из них – священник Алексей Глаголев. При мысли о нем ощущается личность, надежная и скромная, среди бурь житейского моря сохранившая верность Христу. Маяком для него была смиренная любовь к Богу и безмерная жалость к человеку. Быть может свет, исходящий от подобных людей, растеплит и возродит Россию.

П. ПРОЦЕНКО.

28 сентября 1941 года на всех перекрестках Киева появился приказ о том, что «...все жида миста Киева повинни зъявтыся 29 вересня, о 8 годыни ранку, на Дегтяривську вулицю коло жывидвського кладовища». Предлагалось взять с собой ценные вещи и теплую одежду. Было объявлено, что не только не подчинившиеся этому приказу евреи, но и все лица, осмелившиеся их укрывать, будут расстреляны. Ужас охватил сердца людей – не только тех, к кому непосредственно относился этот приказ, но и всех, в ком сохранилось хоть какое-то человеческое чувство.

Никто не знал, что именно ждет евреев, но ясно было: ничего доброго ждать не приходится. Одно уже назначение еврейского кладбища местом сбора и полное умолчание о том, брать ли с собой какой-нибудь запас пищи, не предвещали ничего хорошего. Обреченные то впадали в полное отчаяние, то как утопающие хватались за

соломинку, питая слабую надежду на то, что к еврейскому кладбищу будут поданы железнодорожные составы, на которых их куда-то увезут из города.

Изгнание, тяжелые работы, даже концлагерь – все это не казалось таким страшным, как насильственная смерть, ибо «*dum spero spiro*» (пока дышу, надеюсь). Пока человек дышит, в нем теплится надежда на избавление от этой неволи, на спасение и своей жизни, и жизни своих детей и близких.

Идти же на расстрел самим, да еще и своими руками нести или вести туда же собственных детей и видеть перед смертью как их оторвут от матери и будут убивать на твоих глазах – эта мысль была настолько ужасна, что каждый гнал ее поскорее прочь. Вот почему всем хотелось верить, что евреев ждет только высылка из города, больше ничего. Но верилось плохо, и эти сутки зловещей неизвестности были так нестерпимо мучительны и страшны, что во всех концах города стоял дикий предсмертный вопль ожидающих гибели людей.

После ужасной ночи наступило еще более мрачное утро.

По направлению к еврейскому кладбищу, повинуясь немецкому приказу, потянулись непрерывным потоком десятки тысяч евреев. Здесь были и цветущие, здоровые юноши и девушки, и сгорбленные, дряхлые старики, и полные сил мужчины, и слабые перепуганные женщины, и дети всех возрастов, даже грудные младенцы.

Многие из них были роскошно одеты и везли на ломовых извозчиках целые горы дорогих вещей, другие, победней, сами везли свои вещи на тележках, и детских колясках, третьи тащили все свои пожитки, навьючив их не только на себя, но и на своих маленьких детей, четвертые вели или несли своих больных и калек. Их обгоняли легковые извозчики, на которых совершали свое последнее земное путешествие известнейшие киевские профессора, врачи и адвокаты-евреи.

И все эти люди стекались с разных концов города малыми ручейками в один огромный, нескончаемый поток, устремленный к еврейскому кладбищу.

Потрясающее было зрелище!

Что делать? Как предотвратить готовящееся зло? Эти вопросы роились в измученной голове. И вдруг ко мне через общих знакомых обратилась одна несчастная женщина, умоляя спасти ее и ребенка. Это была Изабелла Наумовна, урожденная Миркина, дочь очень известного в Киеве зубного врача.

Она надеялась, что если я походатайствую за нее перед городским головой и засвидетельствую, что она замужем за русским, то ей дадут право не подчиниться немецкому приказу от 28 сентября. Я сейчас же написал письмо, и моя жена побежала с ним в городскую управу. Все мы надеялись, что городской голова посчитается с моей просьбой, поверив свидетельству сына уважаемого им профессора протоиерея Глаголева, в приходе которого он родился и прожил всю жизнь. Но из этого ровно ничего не вышло. Бывший тогда городским головой профессор Оглобин вышел в приемную бледный и растерянный и сказал, что к сожалению, он ничего не может сделать, так как немецкие власти заявили ему, что еврейский вопрос – личное дело немцев и украинским властям они не дают никакого права в него вмешиваться. Попасть же к кому-либо из представителей немецкой власти не оказалось никакой возможности, так как в этот день все двери были наглухо закрыты.

Лишившись последней надежды получить право на легальное существование, Изабелла Наумовна бросилась догонять свою семью, чтобы разделить с ней общую

участь, но ни отца, ни сестры, ни мачехи в условленном месте возле кладбища уже не оказалось – все они уже перешагнули за ту грань, из-за которой никому нет возврата, ибо, как мы впоследствии узнали, в этот день и последующие дни в Бабьем Яру за еврейским кладбищем было зверски расстреляно более 70 тысяч евреев.

Несчастных ставили над обрывом, расстреливали из пулеметов и засыпали землей не только убитых, но и живых даже не смертельно раненых.

По другим сведениям, взрослых убивали током, а детей просто швыряли в яму и зарывали живьем.

Уже в начале первого дня многим евреям стало ясно, что никаких эшелонов нет и что их гонят прямо на убой.

Страшные слухи быстро распространились среди собравшихся у еврейского кладбища, а оттуда по всему городу и заставили всех содрогнуться от ужаса. Говорят, что многие в ожидании своей участи сходили с ума и тут же, у стен кладбища, принимались танцевать или хохотать безумным смехом. Некоторые предпочли сами наложить на себя руки. Многие стали искать убежища в Церкви, умоляя священников поскорее крестить их вместе с детьми, и этим спастись от смерти на которую они обрекались как евреи. И некоторые действительно крестились но это их не спасло, так как немцы считали, что, и будучи крещенными, они остаются все равно евреями и не заслуживают лучшей участи.

Был уже вечер, когда Изабелла Наумовна вторично подходила к еврейскому кладбищу. Вдруг какая-то женщина окликнула ее: «Куды вы?! Не йдите туды, не йдите, бо не вернетесь!...»

Поздно вечером, совершенно разбитая, она добралась до квартиры, где жили мать и сестра мужа. Но что же было делать дальше? В этом доме и дворник и все жильцы знали, что она еврейка. Остаться здесь значило погибнуть и погубить других. И вот опять родственники Изабеллы Наумовны обратились к нам, умоляя ее спасти. Мы с женой не спали всю ночь, мучаясь и безрезультатно ища способа для ее спасения. Какие же мы христиане, если оттолкнем несчастную, с таким упованием простирающую к нам руки и умоляющую о помощи?

И вдруг жене моей пришла в голову отчаянная мысль: отдать Изабелле Наумовне свой паспорт и метрическое свидетельство о крещении и с этими русскими документами отправить ее в село к знакомым христианам.

Это было, конечно, очень страшно и трудноосуществимо. Понятно, какой опасности подвергалась моя жена, оставаясь без паспорта в такое тревожное время, когда немцы в каждом жителе Киева видели беглого еврея. Кроме того, на паспорт вместо фотокарточки моей жены надо было наклеить фотокарточку Изабеллы Наумовны, снятую с ее паспорта. Возможно ли это? Но я твердо надеялся, что Бог нам поможет в этом добром деле. Так оно и случилось. К счастью, паспорт моей жены во время бывшего у нас в доме пожара был залит водой и пришел в такое состояние, что печать на нем сделалась совершенно неясной и расплывчатой. Это и дало возможность, подмочив фотокарточку Изабеллы Наумовны, наклеить ее на место прежней.

Рано утром жена побежала разыскивать Изабеллу Наумовну, которую мы никогда в жизни еще не видели. Она нашла ее в кладовке под лестницей, замаскированную дровами, где та оплакивала гибель своего отца, любимой сестры и мачехи и ежесекундно ждала такой же участи для себя и своей дочери. Можно себе представить, как она обрадовалась неожиданному приходу моей жены с русскими документами. Вечером она отправилась на Злодиевку, где и прожила у крестьян два месяца.

В этот период моя жена чуть не поплатилась жизнью за своей отчаянный поступок. Ходившие по квартирам с целью реквизиции гестаповцы потребовали у нее паспорт и, когда его не оказалось, заявили, что отведут жену мою в гестапо как подозрительную личность. А уж из гестапо редко кто возвращался домой. Едва-едва удалось их упросить оставить жену в покое, удостоверив свидетельскими показаниями ее личность.

В то время как подлинная Татьяна Павловна Глаголева подвергалась в Киеве таким опасностям, новоявленная Татьяна Павловна довольно мирно проживала в 50 километрах от Киева в селе Злодиевка на правом берегу Днепра.

Но, к сожалению, месяца через полтора после ее поселения здесь сельские власти стали поглядывать на нее с некоторым подозрением и наводить о ней справки у живущих по соседству крестьян. В этом не было ничего удивительного, так как городская женщина, поселившаяся вдруг, ни с того ни с сего, без всякого дела в крестьянской хате да еще не летом, когда в Злодиевке поселяется множество дачников, а глубокой осенью, когда все оттуда разъезжаются, несомненно должна была производить странное впечатление. Кончилось тем, что Изабеллу Наумовну вызвали в сельраду для установления ее личности.

Кое-как выпутавшись из этой неприятности, Изабелла Наумовна поспешно бежала в Киев и поздно вечером 29 ноября явилась вдруг к нам как снег на голову. С этого момента она, а затем и ее десятилетняя дочь Ирочка поселились у нас под видом родственниц и в течении двух лет никуда от нас не уходили. Мы всюду странствовали вместе.

Прятать их приходилось и у себя в квартире, и на церковной колокольне. Задача была очень трудная, так как надо было скрывать Изабеллу Наумовну не только как еврейку, но и как женщину, подлежащую по своему возрасту отправке в Германию или мобилизации на постройку мостов и дорог, что было бы для нее гибелью, так как, во-первых, ее расстроенное здоровье не выдержало бы тяжелых работ, а во-вторых, там мог встретиться кто-нибудь из прежних знакомых ее и выдать ее, даже против своей воли, одним неосторожным восклицанием.

Кроме Изабеллы Наумовны Миркиной и ее дочки Ирочки нам удалось спасти еще несколько евреев. К числу таких относятся Полина Давыдовна Шевелева и ее мать Евгения Акимовна Шевелева. Полина Давыдовна, молодая женщина 28 лет, была замужем за украинцем Дмитрием Лукичом Пасичным; жили они в большом доме под № 63 по улице Саксаганского. Здесь их и настиг роковой приказ от 28 сентября. Сразу почуяв недоброе, Дмитрий Лукич Пасичный решил, что спешить на еврейское кладбище его жене и теще особенно нечего, и, заперев их в квартире, отправился на разведку.

Он явился в назначенный для евреев час на Лукьяновку и в своих изысканиях зашел так далеко, что был задержан и чуть сам не погиб вместе с евреями. Едва-едва удалось ему оттуда выбраться.

Ему стало ясно, что отправить жену и тещу на еврейское кладбище – значит отправить их на расстрел, и он решил во что бы то ни стало укрыть их от немцев. Это было очень трудно, так как в доме знали, что они еврейки.

Каждую минуту в квартиру могли ворваться немцы и увести бедных женщин на расстрел. Такой ужасный конец был уделом многих, забившихся в смертельном страхе куда-нибудь в подвал; их находили там и беспощадно гнали на смерть в Бабий Яр. Бедный Пасичный ломал себе голову, ища какого-нибудь выхода из создавшегося безнадежного положения. Необходимо было как можно скорей увести измученных женщин из их тягостного заточения, где они ни одной секунды не были гарантированы от смерти.

К счастью, Пасичный встретил жену моего брата, певицу Марию Ивановну Егоричеву, которая работала раньше с его женой. Она посоветовала ему обратиться за помощью ко мне, объяснив, что я сын покойного профессора-гебраиста[,] отца Александра Глаголева, который в течение своей тридцатипятилетней священнической и профессорской деятельности всегда выступал на защиту угнетенных и невинно осужденных людей, независимо от их национальности и от того, к какому вероисповеданию они принадлежат. Она рассказала, как в 1905 году во время еврейского погрома отец мой, несмотря на свой мягкий и даже робкий с виду характер, не побоялся выйти во главе крестного хода навстречу разъяренной толпе, убеждая ее прекратить свое злое, нехристианское дело; а в 1913 году, когда его назначили экспертом по делу Бейлиса, выступил в защиту евреев от возводимой на них клеветы – обвинения в ритуальных убийствах.

Мария Ивановна высказала надежду, что я буду верен тем принципам, в которых воспитывал нас отец, и сделаю все возможное, чтобы спасти обреченных женщин. Я перерыл все уцелевшие в бумагах моего отца обрывки старых церковных записей и, к счастью, нашел бланк давно уже отменённого и потерявшего силу гражданского акта – свидетельства о крещении. На этом бланке и была написана метрическая выписка о крещении Пелагеи Даниловны Шевелевой, родившейся в 1913 году от православных родителей. Гербовую марку для этого свидетельства достал сам Пасичный, отклеив ее от старого документа, выданного в свое время какому-то зубному врачу, и дававшего ему право на открытие зубного кабинета.

К сожалению, год выпуска этой марки совершенно не соответствовал году, значившемуся на выданном Полине Давыдовне свидетельстве о крещении. С этим весьма сомнительным документом Полина Давыдовна с матерью были тайком приведены в церковную усадьбу и помещены в маленьком домике под № 6 по Покровской улице, который находился в ведении нашей церковной общины. Этот уединенный домик, расположенный в глубине сада, был построен в 1909 году для моего отца, настоятеля Добро-Никольской церкви. Здесь я прожил с восьми до двадцати девяти лет: рос, учился, женился. Здесь родились мои старшие дети. И когда (после тринадцатилетнего отсутствия) я вновь перешагнул порог этого домика, мне захотелось, чтобы он, в память о моем покойном отце, послужил каким-либо хорошим целям. Вот в нем-то и удалось укрыть от рук убийц Полину Давыдовну и ее мать.

Во всех действиях, направленных на дело спасения Изабеллы наумовны с дочерью и Полины Давыдовны с ее матерью, помогал мне мой друг Александр Григорьевич Горбовский. Он, не желая работать у немцев, оставил свою прежнюю работу в Академии наук и числился у меня управляющим церковными домами, что давало ему официальное положение во время немецкой оккупации. Этот человек, рискуя головой, сделал много добра людям, поставленным немцами вне закона. Он знал, что я скрываю в церковных домах евреев, и не только этому не препятствовал, но всячески способствовал этому. Он не подавал сведений о лицах, подлежащих отправке в Германию или на местные непосильные работы. А таких жильцов у нас в усадьбе, кроме Изабеллы Наумовны и Полины Давыдовны, было еще около десяти. Правда, им не угрожала смерть в Бабьем Яру как евреям, но их могли угнать в Германию.

Не раз бывали чрезвычайно острые моменты, когда казалось, что нашему управдому не сносить головы, но он оставался верен своим принципам: во что бы то ни стало защитить от немцев своих подопечных.

Особенно трудно было уберечь детей и подростков, которые постоянно напрочь забывали об осторожности и по своему легкомыслию, казалось, делали все, чтобы погибнуть.

– Рита! Да ведь тебя же схватили на работе и отправили в Германию! Пойми же наконец, что ты сейчас в Германии: в Штутгарте, или, по крайней мере, в Кенигсберге. Так все думают, и никто не должен знать, что ты соскочила в Боярке с поезда и прячешься у нас в колокольне. А ты, Ира? Да ведь ты же, по официальным сведениям лежишь сейчас чуть ли не на смертном одре! А ты о чем думаешь, Юра? Помни, что тебя нет в Киеве!

Так восклицал в тревоге управдом, а Рита, Юра и Ира, вырвавшись из своего вынужденного уединения и бездействия, совершенно впадали в детство и, собрав целую ораву себе подобных, с грохотом катали друг друга в тачке по старым чугунным плитам церковного двора или играли в волейбол, поднимая при этом страшный шум и визг. И это все на церковном дворе, а напротив, в школе, размещался немецкий госпиталь, перед которым неизменно стоял немецкий караул.

– Дети! Вы когда-нибудь читали «Хижину дяди Тома» Бичер Стоу?

– Нет! – беззаботно отвечали тоненькие голоса.

– Очень жаль! Вы бы тогда поняли, что находитесь в положении Элизы и других беглых негров, за которыми гоняться разъяренные работорговцы!

Теперь, когда все в это в прошлом, можно представить, насколько велика была опасность и какой самый настоящий подвиг совершал Александр Григорьевич Горбовский, числившийся управдомом при Покровской церкви.

А моей задачей как настоятеля этой церкви было спасение... самого управдома, который по своему полу и возрасту постоянно находился под ударом и временами даже жил незаявленным. Правда, по состоянию здоровья Александр Григорьевич всегда признавался военной комиссией негодным к военной службе и имел билет невоеннообязанного, но немцы с этим мало считались; поэтому я старался не отпускать его надолго от себя и дал ему еще звание псаломщика. «Ich bin ein Priester, und das ist

mein Psalmenmensinger»³, – это заявление не раз спасало нас во время облав и проверок документов.

Было еще немало лиц, которые искали у меня защиты как у священника. Я так или иначе пытался их спасти. Будучи тогда настоятелем маленького зимнего храма при церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Подоле, я хотел, чтобы под покровом этого храма укрылось как можно больше обездоленных, и считал помощь этим людям своим христианским долгом. Вот почему в нашем маленьком и бедном храме оказалось такое огромное количество певчих, псаломщиков, сторожей, уборщиц, просфорниц и дворников, что их хватило бы на 5 кафедральных соборов. К счастью, немцы мало разбирались в этом, а то мне бы не поздоровилось, да и моему «штату» плохо бы пришлось, – ведь справки о том, что данные лица находятся на службе, освобождали их от различных принудительных работ.

Но рассказывать о всех наших удачных и неудачных попытках спасти тех или иных людей от немцев – слишком долго.

Упомяну еще только о семье Николая Георгиевича Гермайзе.

Это была семья еврейского происхождения, но еще при царском правительстве родители Николая Георгиевича со всеми своими детьми приняли православие и с тех пор перестали считать себя евреями. Жена Гермайзе перед вступлением в брак тоже крестилась. Сын их Юра, чрезвычайно одаренный, живой семнадцатилетний мальчик, студент мединститута, даже, кажется, не подозревал, что он из евреев. Все они по паспорту числились украинцами, но если Юру еще кое-как можно было принять за такового, то родители его имели настолько ярко выраженный семитический тип, что сердце сжималось от ужаса за них – ведь ясно было, что первый же встречный немец сразу заподозрит их в том, что они евреи, и они погибнут. Так это и случилось. Через несколько дней после массового избиения евреев в Бабьем Яру к нам прибежал знакомый студент медик и сообщил, что его товарищ по институту Юра Гермайзе вместе со своим отцом задержан на пункте, где должны были проходить регистрацию все мужчины города Киева. Несчастных обвинили в том, что они евреи, и стали беспощадно избивать.

Необходимо было как можно скорей дать знать Юриной матери о случившемся и, захватив метрическое свидетельство о крещении Юры и церковное брачное свидетельство родителей, доставить их на регистрационный пункт и туда же привести побольше людей, которые засвидетельствовали бы, что Николай Георгиевич и Юра не евреи. Дочь моя побежала в Несторовский переулок, где жили Гермайзе, а мы с женой – в ту школу, где Николай Георгиевич в течение многих лет преподавал математику, чтобы призвать на помощь в качестве свидетелей его сослуживцев.

Мы бежали быстро, но события совершались еще быстрее. Прибежавшие на помощь с необходимыми документами соседи Гермайзе видели только, как отца с сыном вывели из здания и, усадив в автомобиль, увезли в сторону Бабьего Яра, причем Юра был ужасно бледен и едва держался на ногах, а Николай Георгиевич так обезображен побоями, что глаза его были залиты кровью и совершенно вылезли из орбит. Он шел, как слепой, спотыкаясь и не узнавая ни людей, ни дороги. Когда мы с сослуживцами Гермайзе вбежали на пункт, задержанных уже увезли, и наши попытки

³ Я священник, а это мой псаломщик (нем.).

добиться их возвращения и освобождения встречены были лишь проклятиями и угрозами.

Ясно было – они погибли, но надо было подумать о жене Гермайзе, Людмиле Борисовне. Несчастливая, переходя от полного отчаяния к слабой надежде на то, что муж и сын, которых она любила до самозабвения, живы, каждую минуту ждала, что за ней придут. Мы пытались успокоить убитую горем женщину, поддерживая в ней веру в возвращение мужа и сына. Но совершившееся изменить уже нельзя было, однако следовало предотвратить новое несчастье, которое вот-вот могло случиться с бедной Людмилой Борисовной. Трудно описать, что переживала она в жуткие, бесконечно длинные октябрьские вечера и ночи в своей опустевшей квартире, оплакивая гибель сына и мужа и ожидая с часу на час в смертельной тоске такого же конца и для себя. Мы старались как можно чаще навещать Людмилу Борисовну, чтобы хоть сколько-нибудь ободрить ее, отвлечь от гнетущих мыслей и помочь разобраться в семейных документах. К сожалению, ее паспорт и церковное брачное свидетельство пропали вместе с сыном. Нашлось только студенческое удостоверение, в котором значилось, что она приняла перед вступлением в брак таинство крещения, при котором получила новое имя – Людмила, да еще кое-какие второстепенные документы.

Так шли для Людмилы Борисовны полные муки дни и ночи. И вдруг ее соседи принесли нам ужасное известие, что она задержана как еврейка и уведена в гестапо.

Я сейчас же написал заявление, в котором доказывал, что Гермайзе не еврейка, и умолял не губить ни в чем не повинную женщину. С этим письмом моя жена поспешила в гестапо, но там ее приняли так сурово, что у нее сразу же пропала всякая надежда на успех. Дальнейшие попытки освободить Людмилу Борисовну тоже ни к чему не привели.

Как потом выяснилось, ее морили голодом в течение пяти дней, а на шестой, вместе с другими задержанными по городу евреями, пытавшимися спастись, вывели во двор и собирались везти в Бабий Яр. Среди обреченных были и дети, которых тщетно пытались укрыть у себя русские родственники или соседи. Когда евреев начали уже погружать на машины, чтобы везти на расстрел, Людмила Борисовна вдруг увидела следователя, который ее допрашивал и отнесся к ней лучше других. И тут проснувшийся в ней инстинкт жизни вывел ее из состояния оцепенения и безразличия ко всему, даже к предстоящей насильственной смерти, в которое она впала. Она бросилась к следователю и умоляла пощадить ее, потому что она совсем не еврейка, а украинка, и сказала, что подтвердить это может жена священника Глаголева, которая давно ее знает. Следователь записал наш адрес и отправил несчастную обратно в камеру. И вот к нам на квартиру явился сотрудник гестапо, отрекомендовался и начал допрашивать жену. Вел он себя возмутительно, терроризируя и всячески стараясь запутать мою жену. Наконец он заявил, что если она поручится, что Л. Б. Гермайзе не еврейка, та будет выпущена на свободу, но если при дальнейшем разборе дела выяснится, что это показание ложное, то поплатиться головой не только Гермайзе, но и моя жена. Положение было ужасное. Людмила Борисовна хоть и крещена, но еврейка, да и по внешнему виду трудно найти более ярко выраженный семитический тип. Да еще говорила она с сильным еврейским акцентом. От неосторожного показания могли погибнуть двое. Легче всего было сказать: «Я не знаю». Но это было равносильно подписанию смертного приговора Гермайзе. Утверждать, что она не еврейка значило

подписать смертный приговор себе. Это была невыносимая мука, но чувство долга и жалости взяло верх, и жена моя твердо заявила, что для нее даже и сомнения никакого не может быть в том, что Гермайзе русская, так как она и ее муж постоянно бывали в церкви, где служил мой отец, и просили отслужить панихиды и молебны, и это в советское время, когда никто их к этому принуждать не мог. Пригрозив еще раз моей жене за ложное поручительство, сотрудник гестапо ушел, и в тот же день Людмила Борисовна была выпущена на свободу, причем ей на руки была выдана справка о том, что она не еврейка, а украинка.

Это была большая радость. Людмила Борисовна возвратилась в свою ограбленную немцами квартиру. Она была такая измученная и страшная, что более походила на привидение, чем на живого человека. Дома ее ждал еще один удар: известие о том, что мать ее, старушка лет семидесяти, которая тоже не явилась 29 сентября на кладбище, а осталась в своей прежней квартире в Кияновском проулке, была там обнаружена и отправлена немцами в Бабий Яр, где ее расстреляли.

Одно было хорошо – то, что справка, полученная Людмилой Борисовной в гестапо, давала ей возможность показываться на улице да и дома чувствовать себя в большей безопасности. Я выдал ей церковную справку о том, что она православная по вероисповеданию и украинка по национальности.

Трудно передать все те слова благодарности, которыми встретила Людмила Борисовна мою жену при их первом свидании. Нам хотелось только одного, чтобы несчастную больше не мучили и не преследовали, но, к сожалению, с нашими желаниями мало считались, и спустя месяца три Людмилу Борисовну вторично увели в гестапо, где она и погибла. На этот раз вызвали в гестапо уже меня самого и угрожали расправиться со мной за то, что я, русский человек и православный священник, запятнал себя заступничеством за жидовку.

Все это было нестерпимо тяжело и гнусно, и поневоле приходила в голову парадоксальная мысль о том, что тем из евреев, которые беспрекословно подчинились приказу и были расстреляны немцами в первый день, еще повезло, так как они погибли сразу и шли на казнь, даже не зная, что их ожидает. Гораздо сильнее страдали те, кто, пережив утрату близких и страх непрерывного ожидания смерти, все же были пойманы и расстреляны. А таких оказалось немало. Часто, даже намного позже 29 сентября, можно было встретить на улице извозчика или просто двуколку, на которых везли, как ненужный ненавистный хлам, как падаль на свалку, каких-нибудь расслабленных стариков евреев или полумертвых от болезни и страхе женщин и детей. Это отправляли еще не добитых евреев в Бабий Яр.

Мне известно, что в детские дома были посланы специальные комиссии для отбора еврейских детей, даже самых крохотных, для расстрела. Обречены на смерть были обрезанные мальчики, так как тут же, при всем желании, никакая администрация не могла скрыть их национальности.

Такие ужасы творили немцы с евреями Украины, но это было только прелюдией, после которой в еще больших масштабах пострадало русское и украинское население оккупированных городов и сел. Здесь не было хаты, в которой не оплакивали бы своего Грицька или Омелька, Параску или Оксану, угнанных на каторжные работы в Германию. Я встречал даже такие семьи, где было всего трое детей и их всех забрали у матери в Германию.

В городе люди все-таки могли постоять за себя и своих детей, добиться освобождения по болезни или по работе. Наконец, здесь легче было спрятаться или спрятать своих близких. Село ж в этом отношении оказалось совершенно незащищено. И вот дивчат и хлопцев, иной раз совсем еще детей, не только шестнадцати, но даже пятнадцати и четырнадцати лет, которые ничего еще в жизни, кроме своего села, не видели, отрывали от семьи и угоняли в чужую, далёкую, враждебную Германию, где их мучили, морили голодом, непосильной работой и холодом. С ними поступали как с невольниками-неграми на рабовладельческих плантациях.

Сколько их было в селах, и на далеких хуторах, и в городе! Отец и муж на фронте, старшие дети в Германии, а дома мать с малюсенькими детьми. Вот обычная картина украинского села в годы немецкой оккупации. И это еще в те времена, когда немцы спокойно и «планомерно» распоряжались в стране. Как только дела их на фронте начали ухудшаться, а в тылу им сильно стали досаждают партизаны, немцы совершенно озверели, и бесчинства и жестокости их достигли своего апогея.

Осень 1942 года и последующую зиму наша семья провела в селах за Днепром. Сначала в Тарасовичах, а потом в Нижней Дубечне. Принудили нас к этому тяжелая болезнь старшей девочки и предписание врачей увезти ее из города на свежий воздух и предоставить ей усиленное питание. В Киеве я ничего необходимого для спасения жизни больной дочки сделать не мог. Мы находились в очень тяжелых условиях и буквально жили впроголодь. Поэтому я попросил дать мне временное назначение на приход в Тарасовичи и переехал туда со всей своей семьей, захватив также в качестве родственницы Изабеллу Наумовну с Ирочкой. Александра Григорьевича Горбовского я тоже взял с собой, дав ему звание псаломщика. Так было для них безопасней.

К этому времени, то есть осени 1942 года, за Днепром, особенно в лесных районах, начали усиливаться партизанские выступления. Отовсюду стали доходить к нам слухи, что то в одном, то в другом селе появляются по ночам, а иногда и среди дня, партизаны, убивают находящихся там немцев, расправляются с полицаями, угоняют в лес скот, приготовленный для отправки в Германию. Не имея возможности бороться непосредственно с хорошо вооруженными партизанами, так как для этого у них не было на периферии достаточно сил, немцы избрали другой метод. Они присылали в «провинившиеся» села свои карательные отряды, которые сжигали село, стараясь истребить как можно больше «подозрительных», применяя для этого и расстрел, и повешение, и сожжение людей живьем в запертом помещении. Постепенно последний, наиболее зверский метод уничтожения людей сделался преобладающим. Множество больших цветущих сел было превращено в сплошные пожарища. Так были сожжены поблизости от Киева: Писки, Новая Басань, Новоселица, а позже Ошитки, Днепровские Новоселки, Жукин, Чернин и другие. Чувствовалось, что это волна докатится и до Нижней Дубечни, в которую мы переехали из Тарасовичей. Что было делать? Немцам ничего не стоило причислить нас к подозрительному элементу и расправиться с нами по-своему.

Вдруг нас вызвали в сельуправу и потребовали, чтобы мы предъявили свои паспорта и удостоверения, а потом заявили в очень грубой форме, что мне, матушке с детьми и дьяку они разрешают жить в селе, а что касается «якойсь там родычки з дивчиною, то ий нема чого тут без дила шлятыся, а треба ихати в Кыйв и працювати».

С великим трудом удалось достать подводу и отправить бедную Изабеллу Наумовну с Ирочкой в Киев, под сень Покровской церкви, а через несколько дней, утром, до восхода солнца, я тайно с доверенным лицом отправил в Киев и свою жену, которой предстояло на днях рожать. Под сено на дно саней погрузили из наших запасов 4 мешка картошки, единственную гарантию от голодной смерти в городе, хоть на первое время. Тревожный и печальный это был отъезд. Страшно было мне отпускать жену; тревожилась и она, оставляя меня с детьми в селе, которому угрожала расправа карательного отряда. Но иначе поступить было нельзя, так как всех нас разом не выпустили бы местные власти, которые не хотели, чтобы я оставил их. Мы условились с женой, что через несколько дней, не позже 16 февраля мы с детьми тоже покинем Дубечню.

Жена уехала. Дорога была тяжелая, а лошаденка настолько плохонькая, что 25 километров до Киева тащиться пришлось более десяти часов. Бедной путнице казалось, что дороге конца не будет и что рожать ей придется на льду. Уже поздно вечером добрались они наконец до Киева. А через несколько дней после их отъезда, 31 января, в Нижнюю Дубечню явился немецкий карательный отряд. Поводом для расправы с жителями служило то, что через их село накануне проехал отряд партизан, хотя при этом никаких столкновений с немцами не произошло.

Приехали каратели с вечера, остановились в школе, всю ночь пьянствовали с полицейскими и горланили пьяные песни, а на рассвете свершилось страшное: они заперли в одной из хат троих мужчин, молодую женщину и пятилетнего мальчика и, облив их предварительно керосином, подожгли. Когда несчастные, задыхаясь от огня и дыма, выбили стекла и хотели высадить через окно обезумевшего от страха ребенка, немцы штыками втолкнули его обратно в пылающую хату.

А вокруг метались с воплями, ломали в отчаянии руки и умоляли о пощаде отцы, матери и жены сжигаемых. Их гнали прочь и били прикладами.

Когда мне сообщили о случившемся, я поспешил на место казни. Трудно себе представить более жуткое зрелище, чем то, что открылось моим глазам. Палачи уже удалились, и теперь на месте пожара родные и соседи погибших разгребали еще дымящиеся угли, передвигали обгорелые балки и из-под них извлекали обуглившиеся трупы. Несмолкаемый стон стоял над селом.

Наутро я объявил церкви, что буду служить панихиду по невинно замученным, и предложил всем принять в ней участие. Присутствовавшие в церкви остались, чтобы отдать последний долг односельчанам. А через два дня мы погребли на кладбище все обуглившиеся остатки человеческих тел, которые удалось разыскать.

Волосы встают дыбом от ужаса теперь, спустя два года, когда я вспоминаю о немецких зверствах, свидетелем которых довелось мне быть. В соседних селах творилось то же, только в более грандиозных размерах. Здесь сожженных живьем исчисляли не единицами, а десятками и даже сотнями...

Публикация, подготовка текста, примечания
П. ПРОЦЕНКО.

Transcribed by Tobias Wals